

Валерий Брюсов

Юпитер поверженный



Валерий Брюсов

Юпитер поверженный

«Public Domain»

1934

Брюсов В. Я.

Юпитер поверженный / В. Я. Брюсов — «Public Domain», 1934

«Во имя Отца и Сына и Святого духа! Я, кого прежде звали Децимом Юнием Норбаном, ныне смиренный инок Варфоломей, недостойный член братства в Высшем монастыре, на Лигере, славной по всему Западу обители, коей начало положил сам незабвенный подвижник и наш патрон Мартин из Турон, ныне уже почивший в Боге, – приближаясь к концу моего земного странствия, когда предстоит мне скоро дать ответ за все содеянные мною прегрешения пред Судьей нелицеприятным, вознамерился в этих книгах описать, ничего не утаивая, до каких страшных пределов падения я доходил и каким путем неизреченная милость Спасителя нашего привела меня к покаянию, истине и жизни новой...»

© Брюсов В. Я., 1934

© Public Domain, 1934

Содержание

Книга первая	5
I	5
II	6
III	8
IV	11
V	15
VI	19
VII	23
VIII	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Валерий Брюсов

Юпитер поверженный

Повесть IV века

Книга первая

I

Во имя Отца и Сына и Святого духа! Я, кого прежде звали Децимом Юнием Норбаном, ныне смиренный инок Варфоломей, недостойный член братства в Высшем монастыре, на Лигере,¹ славной по всему Западу обители, коей начало положил сам незабвенный подвижник и наш патрон Мартин из Турон, ныне уже почивший в Боге, – приближаясь к концу моего земного странствия, когда предстоит мне скоро дать ответ за все содеянные мною прегрешения пред Судьей нелицеприятным, вознамерился в этих книгах описать, ничего не утаивая, до каких страшных пределов падения я доходил и каким путем неизреченная милость Спасителя нашего привела меня к покаянию, истине и жизни новой. Помимо того, что история обращения от идолопоклонства, когда-то казавшегося мне единой божьей правдой на земле, к вере и упованию во Христа, истинный светоч мира, может быть полезна для умов колеблющихся, донныне не воспринявших в полноте откровения о спасении рода человеческого через крестную смерть господя нашего, – еще я думаю, что должно мне искупить один из тяжких грехов моей юности, в том состоящий, что в других книгах я изложил буйные приключения, пережитые мною в ранние годы, и тем, может быть, соблазнил единого из малых, ибо, в своем тогдашнем безумии, представлял в своих писаниях веру заблуждавшихся предков наших и служение кумирам, как нечто даже превосходящее учение святой церкви Христовой. Кроме того, самые те события, которые я хочу изобразить по мере моего умения, были и замечательны и важны, и заслуживают памяти, хотя в то же время и в высшей степени прискорбны и достойны всяческого осуждения, так как мне довелось видеть и самому быть «большой частью», – как говорит певец Энея,² – последнего торжества в Городе,³ искупленном мученической смертью апостолов Петра и Павла, безумного идолослужения, попущенного Вседержителем, дабы полнее и несомненное открылась спасительная истина Христова учения, свет коего просвещает всех. А Промысл божий дает нам видеть свое явное вмешательство в судьбы земные не с тем, чтобы мы познанное таили под спудом, но дабы мы об нем свидетельствовали миру, поучая не видевших.

Однако, чтобы понятно было читателю, почему я действовал так, а не иначе, и чтобы ясно стало мое душевное устройство того времени, мне должно вкратце объяснить, кто я, откуда родом и как провел жизнь.

¹ «Высший монастырь (Maius Monasterium) на Лигере – монастырь Мармутье на Луаре, основанный Мартином Турским (ум. в 401 по Р. Х.)». (Прим. Брюсова.)

² Вергилий, «Энеида», II, 6.

³ Рим.

II

Если бы земные почести еще могли меня занимать, не без гордости я сказал бы, что предки нашего рода были известны еще до времен царей, потому что мы, Юнии, ведем наше происхождение от Юна, с благочестным Энеем прибывшего в Лавинийскую землю,⁴ и добавил бы, что первой славой покрыл себя наш род при царях, напомнив имя Марка Юния, взявшего в замужество Тарквинию, дочь одного царя и сестру другого, того самого Марка, сын которого, называемый обычно Брутом-старшим, освободил республику от тирана, совершив дело кровавое, за которое да будет к нему милость Небесного Отца. Впрочем, надо ли Римлянам, – а к кому другому я могу обратиться эти строки? – напоминать всем памятные имена Юниев:⁵ Луция Юния Брута, одного из четырех первых трибунов народных, Децима Юния Сцеву, первого консула из нашего рода, начальника конницы при диктаторе Публии, Гая Юния Бубулька, также консуляра и начальника конницы при диктаторе Папирии, и многих других, не говоря уже о втором Бруте, грех которого еще тяжелее, нежели деяние его предка, потому что убийца Цезаря подымал руку на своего благодетеля и благодетеля всей империи, но который все же представлен нам историками, заслуживающими доверия, как человек с побуждениями самыми благородными. Все столетия древней республики и все столетия империи означены именами Юниев, так как наш род, разделившись на многие отрасли, давал Сенату и Августам и победоносных полководцев, и славных ораторов, и судей, и писателей: Юнии Бруты, Юнии Силаны, Юнии Перы, Юнии Пенны, Юнии Блезы, Юнии Галлионы, Юнии Гракханы, Юнии Конги, Юнии Отоны и другие – свои имена навсегда вписали в книгу, о которой говорили прежде, что ее ведет Клио.⁶ Отпрыском того же рода были и Юнии Норбаны, поселившиеся в Галлии,⁷ а именно в той Аквитании,⁸ которую наш знаменитый поэт Авсоний называет «улыбчивой», и в течение ряда поколений предки мои не покидали этой, недавно еще счастливой страны, первым Цесарем соединенной в одно с сердцем империи. И если даже правы недоброжелатели нашей семьи, утверждающие, что Норбаны ведут свой род от раба, отпущенного на волю одним из Юниев Силанов, все же длинный ряд восковых изображений, украшавших атрий⁹ моего родного дома, свидетельствует, что мои предки, в течение почти четырех столетий, не жалея сил и дарований, служили тому, что почитали самым высоким: славе родины, и через то сделались достойными носить громкое имя, принятое ими, конечно, не без согласия тех, кому оно принадлежало.

Дед мой, носивший одно со мною имя и в памяти у меня оставшийся как добрый старец, угощавший меня лакомствами, – потому что он скончался в моем детстве, – устранился от дел общественных и посвятил себя благородному занятию сельским хозяйством, что и было понятно в те смутные времена, которые тогда переживала империя. Отец мой, Тит Юний Норбан, продолжал заботиться об наших, не слишком обширных, но достаточных имениях, расположенных близ города Лакторы,¹⁰ гордого своей древней свободой, и, отказавшись от жизни

⁴ Италия.

⁵ «Имена Юниев – Junius – известный римский gens (род) <...>. Позже других упоминаются Юний Норбаны». (Прим. Брюсова.)

⁶ Клио – в греч. мифологии муза – покровительница истории.

⁷ Галлия – в древности страна, расположенная между Средиземным морем, Альпами, Рейном и Атлантическим океаном. Римляне различали Заальпийскую Галлию (ныне Франция), Предальпийскую (Верхняя Италия), префектуру Галлии (Британские острова).

⁸ «Аквитания – так назывался юго-западный угол Франции, который носил это название в Докесарево Галлии. Позднее (I–III вв. по Р. Х.) понятие Аквитании было расширено почти на половину Галлии». (Прим. Брюсова.)

⁹ «Атрий – центр римского жилища, общая зала». (Прим. Брюсова.)

¹⁰ Лактора – маленький город в Аквитании. Бурдигалы – город в Галлии, ныне Бордо.

в Бурдигалах, где остались наши родственники, поселился в тиши полей, – участь, о которой мечтал Вергилий, – лишь на зиму переезжая в ближний город, где скоро, с почетом, был избран в число декурионов.¹¹ Был мой отец человек нрава строгого, честности исключительной, ума ясного и пронизательного, сложением высок, строен и силен, со взором суровым, но душой – милосердый, короче говоря – истинный Римлянин, каких уже мало в наши дни, и хотя не был он просвящен духом истины и светом Христова учения, я все же надеюсь, что Судия праведный не осудит его за приверженность к верованиям предков, коих он беспредельно чтит. Тем большее упование я питаю на спасение матери моей, Руфины, по своей матери из славного дома Римских Бебиев, а по отцу из достойной семьи Лугдунских Армиев, ибо мать моя, испытанная тяжкими горестями, после смерти моего отца, познала истинную веру и скончалась с именем Спасителя на устах. Оба они, и мой отец и моя мать, были люди достойные, о которых никто не скажет худого слова, и если не могли, по своему неведению, открыть мне путь к Истине, то воспитали меня в духе благочестия, доблести и честности, так что за все свои грехи, тяжесть коих сокрушает мои, уже старческие, плечи, должен на Страшном судилище нести ответ я один, как не сумевший черпать из сокровищницы добра, с детства раскрытой предо мною.

В мире и согласии жили мои родители, любя друг друга, выполняя свои обязанности пред людьми, рача о своем имуществе, вверенном им волею бога, воспитывая своих детей, как они умели лучше, и милостиво относясь к нашим многочисленным рабам и слугам, так что мне надлежало лишь следовать примеру, бывшему у меня с первых лет пред глазами, чтобы не вовлекаться в те несчастья, которые дважды в жизни поколебали все мое существо и едва не привели меня к смерти постыдной и страшной, за коей не осталось бы мне надежды даже на неизреченное милосердие божие. Сам я, по буйству души своей, не восхотел принять этих благих уроков, и сам повел себя, в детской самонадеянности и в обольщении страстями, на край погибели, о чем ныне и хочу, со всей откровенностью, поведать тебе, о благосклонный читатель.

¹¹ Декурион – сенатор в муниципии.

III

Я родился в календы¹² февраля, в год, когда консулами были императоры Валентиниан и Валент, и был в семье третьим ребенком, первым же был брат Люций, умерший, к великому огорчению родителей, когда мне едва минуло два года, а вторым – сестра Децима Юния, бывшая старше меня на три года, ныне уже покойная и, надеюсь, обретшая спасение, ибо скончалась она, приняв ангельский чин в одном из женских монастырей Асианы,¹³ куда удалилась за своим вторым мужем. Так как рано я остался единственным сыном в семье и будущим представителем рода Юниев Норбанов, то на мое воспитание было обращено особое внимание. Отец, выступавший редко как оратор и никогда не желавший стать писателем, был, однако, человек весьма просвещенный, глубоко усвоивший ту мудрость, какую можно воспринять без содействия благодати божией из книг великих поэтов и философов Греции и Рима, и большую часть своего досуга посвящавший чтению, преимущественно склоняясь к учению древних стоиков и особенно любя творения философа Сенеки. Посему отец сумел выбрать для меня лучших учителей, каких только можно было найти в нашем городе, и сам, своими беседами и поучениями, много помогал развитию моего ума.

После того, как я научился дома чтению и письму, меня послали зимой в школу начального учителя, доброго старика Мессия, преподавшего мне начатки математики и других наук. Потом перешел я в школу грамматика¹⁴ Патерна, славившегося в нашей местности, который действительно умел прививать своим ученикам, как опытный садовник – деревьям-дичкам, и любовь к знанию, и нужные сведения из геометрии, истории, землепознания, наук естественных и искусств. Единственный недостаток его, что он был драчлив, и мне самому случалось получать жестокие удары ферулой по ладоням, хотя я учился хорошо и за свои сочинения не раз получал в награду книги. Еще после того, отец пожелал, чтобы я, раньше, чем ехать к кому-либо из реторов, учился еще у лакторского грамматика Агапита, грека по рождению, но Римлянина по языку и по духу, почитавшего себя очень ученым и похвалявшегося, что он ни в чем не уступает реторам. Агапит в самом деле знал многое, но уроки его вряд ли были полезны для всех его слушателей, так как он постоянно отвлекался в область чистой реторики и нам, мальчишкам, всего охотнее толковал творения великих поэтов и ораторов или развивал перед нами учения философов. Но мне, по счастью, были даны от господ бога хорошие способности и умение все схватывать и понимать быстро, так что за те полтора года, что я посещал Агапита, я все же успел научиться у него многому и, – хотя позднее не закончил вполне образования в реторской школе, по праву уже не мог почитать себя невеждою. Впрочем, способствовало тому и то обстоятельство, что в нашем деревенском доме была большая библиотека, которую я, будучи любознателен и рано пристрастившись к чтению, прочел едва ли не всю.

Впрочем, пусть читатель не подумает, что все мое детство было посвящено учению и что в ранние годы меня ничто, кроме книг, не занимало. Напротив того, я был ребенком скорее шаловливым, летом неустанно упражнялся и в верховой езде, и в охоте, и в рыбной ловле, в игре в трох,¹⁵ в кубарь и в треугольник, умел быстро бегать, ставить силки для птиц, владеть самострелом и домой нередко возвращался с синяками, полученными мною от падения или даже в кулачном бою со сверстниками. Отец смотрел на мои проказы снисходительно, потому что силу тела почитал наравне с силой ума, и останавливал мою мать, когда она начи-

¹² Календы – в древнеримском календаре первые числа месяцев.

¹³ Асиана – Малая Азия.

¹⁴ «Грамматик – философ, учитель. Школы грамматиков были в Римской империи средними учебными заведениями». (Прим. Брюсова.)

¹⁵ Трох – обруч для катания.

нала попрекать меня словами: «Женщины этого не понимают». Однако столь же рано предался я проказам иного рода, о которых ныне должен говорить со стыдом, но о которых не хочу умалчивать, так как решил писать здесь о себе всю правду: я разумею раннее мое увлечение женскими прелестями. Мне все говорили, что я был мальчик красивый, и позднее женщины не раз меня сравнивали, по лицу и осанке, с богом Меркурием,¹⁶ как его изображали художники, – и вот мне еще не исполнилось десяти лет, как одна из рабынь, живших у нас в доме, вечером завела меня к себе в спальню. После того много было девушек среди наших служанок, с которыми я соединялся в недостойной связи, а в городе, учась в школе, и посещал с товарищами тех женщин, что продают свои ласки за деньги, и не всегда умел противостоять соблазнам тех мужчин, которые, в свою очередь, пленялись моей отроческой красотой. Пусть судит мои давние прегрешения господь бог, я же скажу, что такова была жизнь и всех других юношей нашего круга. И мой отец, человек нравственности строгой, от которого не могли укрыться мои похождения, не видел в них особого зла, так как и сам до конца дней легко поддавался женским обольщениям и не пропускал случая позабавиться с красивой рабыней, хотя любил мою мать истинной супружеской любовью.

К сожалению, то, что в первой юности было действительно только проказами, с годами перешло в проступки более важные. Одною из причин того было мое особое положение в нашем городе, развивавшее во мне грех гордости. Так как семья наша весьма почиталась, как в самой Лакторе, так и в окрестностях, то ко мне все относились также с почтением, как к сыну видного человека, члену местной курии.¹⁷ Кроме того, наше имущество, которое, быть может, и показалось бы незначительным в Риме или в Италии, представлялось для местных жителей целым богатством, отец же никогда не отказывал мне в деньгах, с самого моего раннего детства. Наконец, я всегда был впереди товарищей по успехам в школе, да не уступал им ни в силе, ни в ловкости. Таким образом я рано приучился считать себя человеком выдающимся, предназначенным к чему-то высшему, и находились люди, даже пожилые, которые не стыдились поддерживать во мне такое самомнение, льстя мне ради разных своих соображений. Как бы опьяняемый лестью и постоянными удачами, я уже ни в чем не желал остаться вторым, но стремился всегда быть первым, не только в успехах по учению, но и в щедрости, в победах над женщинами, в попойках и в других, не очень невинных, забавах молодежи. В то же время и на сверстников, и даже на всех жителей нашего города я смотрел несколько свысока, почитая себя и умнее и учнее их и тяготясь тем, что моя жизнь пока протекает в безызвестности.

Неизвестно, однако, как направилась бы вся моя жизнь, если бы я сам, своим недостойным поведением, не изменил всего ее течения.¹⁸ Дело в том, что на предложение отца остаться еще на год в Лакторе и посещать школу грамматика Агапита, прежде чем ехать к кому-либо из реторов¹⁹ в Бурдигалы, я согласился охотно по одной особой причине. Была тогда в Бурдигалах одна матрона, из достойной семьи и замужем за достойным человеком (имени ее, однако, я здесь не назову), которая также нашла меня достаточно красивым мальчиком и, без труда возбуждив во мне влечение к себе, сделала меня своим возлюбленным. Разумеется, связь со свободной женщиной есть грех гораздо более тяжкий, нежели мимолетные связи с рабынями, но в свое оправдание я могу сказать, что эту матрону, хотя и по-юношески, но все же я полюбил страстно. Мне тогда казалось, что прекраснее ее нет женщины на всем круге земли и что я, разделяющий тайно ее ласки, счастливейший из смертных. Расстаться с ней было для меня столь тяжело, что я предпочел отложить на год свой переход в школу ретора, только бы продолжить столь сладостные для меня свидания и продолжать наслаждаться своей любовью. Однако,

¹⁶ Меркурий – в римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников.

¹⁷ Курия – 1. Название сената городов Римской империи. 2. Место собраний граждан.

¹⁸ Когда мне едва исполнилось семнадцать лет, в праздник Либералий (17 марта 383 г. (Прим. Брюсова.) совершилось торжество моего облечения в мужскую тогу. Я снял с себя детскую буллу и надел белое одеяние.

¹⁹ Ретор – учитель в высшей школе.

во-первых, эти самые свидания требовали значительных расходов, чтобы подкупать рабов и рабынь, во-вторых, сама моя возлюбленная не только не отказывалась от разных моих подарков, но даже как бы выпрашивала их у меня, в-третьих, наконец, нет ничего тайного, что с течением времени не делалось бы явным, и скоро появились лица, которые стали мне угрожать, что раскроют наши отношения пред мужем матроны, и требовать с меня денег за молчание. По этим причинам, а также потому, что я не покидал своей разгульной жизни, мне стало не хватать сумм, посылаемых мне отцом (который ту зиму провел в деревне), и пришлось прибегнуть к помощи ростовщиков, охотно согласившихся ссужать деньги богатому наследнику. День за днем я стал запутываться в своих денежных отношениях и к весне оказался обремененным долгами, весьма значительными для юноши моего возраста.

Внезапно я был вызван отцом в деревню, где он, объявив мне, что ему все известно, показал мне мои обязательства заимодавцам оплаченными и, с своей обычной решительностью, приказал мне немедленно собираться в дорогу. Напрасны были мое позднее раскаяние и слезы и все клятвы, которые я давал исправиться, и все доводы, которые я приводил, – отец подтвердил, с неумолимостью, что не только я не вернусь более в Лактору, но не поеду и в Бурдигалу, отстоящую от нее слишком недалеко: он решил отправить меня в Рим, чтобы там, в стороне от прежних товарищей и от окружавших меня недостойных людей, я, продолжая свое учение, постарался бы начать новую жизнь. Так велико было желание отца удалить меня из нашей местности, что он едва согласился не отсылать меня в ту же самую ночь, а отложить мой отъезд на три дня. От этого решения отец уже не отступил, несмотря на то, что к моим просьбам присоединила свои просьбы и свои слезы моя мать, которой страшно было отпускать меня одного в далекий путь и в громадную столицу империи. Я только успел кое-как собрать свои вещи и отправить тайно, с верным человеком отчаянное письмо своей возлюбленной, как на утро третьего дня, по приезде в деревню, уже должен был покинуть родной дом, направляясь, в сопровождении двух старых домашних рабов, по дороге в Массилию.²⁰ Мать рыдала, провожая меня, отец сказал, как напутствие, несколько суровых слов, и я покинул наше поместье, почти как изгнанник, посылаемый в далекую ссылку.

²⁰ Массилия – город в Галлии, ныне Марсель.

IV

Было мне тогда восемнадцать лет. Я буду откровенен, если скажу, что в душе моей в те дни боролись чувства самые разнообразные. С одной стороны, меня угнетал стыд, после того как мое недостойное поведение было разоблачено и отец как бы отослал меня от себя; с другой – меня мучило и сознание, что я надолго расстаюсь с той, которую тогда я искренно любил, и что она мое послушание почтет недостатком любви к ней. В то же время, однако, мысль, что я скоро увижу Город и буду жить в нем, невольно наполняла меня тайной радостью. Уже давно меня томило, что я не мог проявить своих дарований на сцене более обширной, нежели наш маленький городок, и теперь мне представлялось, что в древней столице мира меня ждут не только неизведанные удовольствия, но и возможность обратить на себя всеобщее внимание. Конечно, то были детские мечты, но надо помнить, чем представлялся Рим для далекого провинциала, тот самый Рим, о котором он читал во всех книгах и рассказы о великолепии которого слышал изо всех уст: средоточием вселенной, мировой ареной состязаний, победитель на которой сразу становится известен во всех пределах земного круга, городом, который один имеет силу сделать человека великим и славным. Как бы то ни было, за время нашего пути до Массилии я то предавался мрачному отчаянию, то против воли тешился несбыточными надеждами и готов был думать, что все в моей жизни произошло к лучшему, по вмешательству какого-то благосклонного ко мне божества.

В Массилии я провел несколько недель в ожидании подходящего корабля. При этом насладиться удовольствиями большого приморского города в полной мере мне не пришлось, так как приехавшие со мной рабы, исполняя приказания отца, почти ни на шаг не отпускали меня одного. Напрасно я отдавал им приказания, как хозяин, и всячески грозил им: неподкупно служа своему господину, они оставались непреклонны, а так как именно в их руках были назначенные для меня деньги, то мне оставалось только подчиняться, негодуя, такой постыдной опеке. Лишь после того, как корабль, который должен был отвезти меня в Италию, был совершенно готов к отплытию, верные служители, проводив меня на судно, вручили мне проездную тессеру,²¹ отдали кошелек с деньгами (из которых, как мне известно, не утаили ни асса²²) и, став на колени, стали просить у меня прощения за строгое исполнение приказаний моего отца. Я, разумеется, уже не мог на них сердиться, передал им написанные мною письма к отцу, к матери и к сестре и даже, на прощание, дал поцеловать свою руку. Когда лодка с этими двумя моими дядьками отчалила от нашего корабля, на котором гребцы уже были рассажены рядами и паруса наполовину подняты, я почувствовал, что порвалась моя связь с родным домом, что я остался свободным, но и беззащитно одиноким. Признаюсь, что, несмотря на радость, какую я испытывал при мысли, что плыву в Италию, слезы покатались по моим щекам, и то было, конечно, горестное предчувствие всех бед, ожидавших меня в Золотом Риме.

Плавание мое было вполне благополучно, и через несколько дней мы пристали в Римском Порте. Оттуда в наемной реде я проехал в Город и прямо явился в дом своего дяди по матери, сенатора Авла Бебия Тибуртина, к которому имел коммемдационное письмо²³ и у которого, по распоряжению отца, и должен был жить. Встретил меня дядя весьма приветливо и, хотя у этого человека, о котором мне еще придется говорить, было много слабостей, я должен здесь засвидетельствовать, что ко мне он всегда относился с истинно отеческой заботливостью. Добрым словом должен я помянуть и вторую жену его Меланию, женщину, также не лишенную недо-

²¹ «Тессера – пароль (также билет для входа на различные представления, билет для проезда на корабле и т. д.)». (Прим. Брюсова.)

²² Асс – римская бронзовая мелкая монета.

²³ «Коммемдационное письмо – рекомендательное». (Прим. Брюсова.)

статков, но уже и тогда бывшую последовательницей веры истинной, к откровениям которой она тщетно призывала мою слабую и слишком юную душу. Наконец, слезы выступают на моих старческих глазах, когда я вспоминаю их дочь, маленькую Намию, которая сразу полюбила меня со всей нежностью, хотя, может быть, и более страстно, чем та, с какой позволено любить своего родственника. Во всяком случае, в доме сенатора я мог бы жить как в родной семье и, пользуясь этим тихим кровом, мог бы посвятить свое время учению и воспитанию своей души на пользу близким и на честь империи, если бы собственные мои слабости не увлекли меня быстро на совершенно другую, пагубную и темную дорогу.

Чтобы понятно было все дальнейшее, случившееся со мной, должен я объяснить, какие мысли всего более занимали меня в то время. Во-первых, как-то свойственно молодости, я мечтал о каких-нибудь великих подвигах, которые дадут мне возможность проявить свои дарования, казавшиеся мне исключительными, и прославят мое имя по всей земле. Во-вторых, я был полон воспоминаниями о древней славе Рима и, в своем тогдашнем ослеплении, приписывал его бывшее величие служению богам предков, а его упадок – отступничеству от веры в Олимпийцев.²⁴ Что таковы были мои взгляды, не удивительно, ибо именно такие рассуждения слышал я постоянно и дома и в школе, причем и мой отец, и мои учителя равно относились с безумной ненавистью к истинной вере, считая, что все бедствия империи начались с тех дней, когда император Константин заменил знаком Креста изображение Геркулеса²⁵ на военных знаменах. И вот обе эти основные мысли моей души сливались в одну, и мне все представлялось, что я призван именно к тому, чтобы способствовать восстановлению веры предков, а через то прежнего величия всей империи, и прежде всего древнего Рима. Стыдно мне теперь вспоминать, сколько нелепых мечтаний возникало в моей горячей голове под влиянием таких мыслей, сколько неосуществимых планов я строил и как часто целыми часами тешил себя, выдумывая разные события, изменяющие весь строй жизни в империи, в которых, разумеется, сам я играл первенствующую роль. Остается мне только добавить, что гибельные эти мои мечты, словно огонь от масла, еще более разгорались под влиянием бесед с моим дядею, который также был предан древней Римской вере, с таким же осуждением смотрел на новый порядок дел и так же, по-юношески, несмотря на свой почтенный возраст, жалел о жизни прошлых веков, их обычаях и установлениях.

Теперь понятно будет, какой неодолимый соблазн встал пред моим восемнадцатилетним сердцем, когда в доме моего дяди я повстречал прекрасную женщину, разделяющую те же самые взгляды и всю свою жизнь, по-видимому, посвятившую на осуществление тех же замыслов, какими тешился и я. То была падчерица сенатора, дочь его жены от ее первого брака, носившая красивое имя Гесперии и воплощавшая в себе все прелести и все коварство Египетской Клеопатры. Много еще мне придется говорить об этой женщине, но сейчас, когда ее имя впервые я пишу на этих листах, я не могу удержать в своей груди такого волнения, которое не приличествует ни моему положению, ни моим летам. Ах, сколько раз за те долгие годы, что я провел в строгом уединении нашей святой обители, образ Гесперии опять восставал предо мной и в часы ночного бдения, и даже в часы общей молитвы! Боже! Буди милостив ко мне, грешному, вспомяни всю ревность моих раскаяний, всю искренность моих исповедей пред духовником, всю мою готовность налагать на себя суровые эпитимии! Но, воистину, не слишком ли жестокое искушение поставил ты, праведный господи, пред нами, грешными людьми, послав в мир такую красоту, воплощенную в женском теле! Не знаю, не богохульство ли днесь произносят мои уста, но, боже сильный, будь милосерд к нам, слабым, оболыщенным совершенством твоего создания! А ныне, в этой одинокой келье, где день за днем ожидаю я часа,

²⁴ Олимпийцы – в греч. мифологии боги, населявшие гору Олимп.

²⁵ Геркулес – в римской мифологии бог и герой, соответствует греческому Гераклу.

когда ты воззовешь меня на свой суд, дай мне силы бестрепетно вести далее мой стиль и продолжать мое правдивое повествование во славу твою, а не на соблазн другим!

Нет, не буду я здесь описывать, сколь прекрасна была Гесперия, сколь обольстительны были все ее движения, каждый малейший изгиб ее тела! Никакая статуя древних прославленных ваятелей не сохранила нам воспоминаний о столь совершенной красоте. Добавлю только, что столь же обольстительна была и душа этой женщины, столь же соблазна умела она влить и в свой разговор, и во все свои поступки, так что следящим за ней казалось, что все делаемое ею – прекрасно! Достаточно сказать, что уже после первой встречи я, юноша, с детства привыкший, чтобы мной любовались женщины, почувствовал себя навсегда рабом Гесперии, ее покорным служителем, по одному ее слову готовым идти на любое дело или на любое преступление. С такой силой возгорелась во мне тогда любовь к Гесперии, что я уже почитал ее равной бессмертным богиням, согласен был поклоняться ей и приносить жертвы, как одной из небожительниц. И уже ничто с тех пор не могло исцелить в моей груди этой страстной раны, которая и сегодня, под моим монашеским одеянием продолжает болеть и сочиться кровью... Боже, милостив буди ко мне, грешному!

Гесперия опытным глазом красавицы, которой молва приписывала многих и многих возлюбленных, не могла не заметить, что совершается с таким наивным юношей, как я. Она тотчас решила воспользоваться моей исступленной страстью и немедленно приблизила меня к себе. Но в этом приближении таилась для меня другая опасность, так как Гесперия стояла в те дни во главе одного тайного заговора (одного из тех, которые так часто потрясали за последние годы нашу несчастную империю), цель у которого была свергнуть императора Грациана и возвести на Диоклецианов трон кого-либо другого, враждебного истинной вере и приверженного к вере предков. Участвовать в этом заговоре, объединявшем в своих рядах немало людей, особенно выдающихся, сенаторов, знаменитых писателей, прославленных ораторов, и предложила мне Гесперия. Можно представить, что случилось со мной при таком предложении! Я делался через то приближенным Гесперии, которую уже любил со всем безумием юности, и в то же время входил в круг знаменитейших людей нашего времени, чтобы служить тому делу, которое отвечало самым заветным моим мечтаниям! Без раздумия кинулся я на зов Гесперии, как кидаются воины в самый разгар боя по призыву любимого начальника, готовые принять вражье копье прямо в сердце и с хвалой на устах встретить страшную смерть. Я объявил Гесперии под страшной клятвой, что отдаю себя в ее власть, как простую вещь, и этой своей клятвы я не нарушил.

Долго было бы рассказывать все, что я пережил после того, но важно сказать, что никакие, самые жестокие, испытания не могли ослабить во мне любви к Гесперии. Она явно смеялась надо мной, как над наивным мальчиком, едва ли не на моих глазах избирала себе новых возлюбленных, мне же только позволяя целовать свои руки, – я продолжал любить ее. Она приказала мне ехать в Медиолан²⁶ и там свершить страшное преступление: поднять руку на избранника божия, убить императора; и я, зная почти наверное, что меня ждет мучительная казнь, радостно повиновался и еще благословлял посылавшую меня. Захваченный с кинжалом в руках на лестнице священного дворца, я много недель томился в смрадной подземной тюрьме и в эти дни испытаний понял, что мною действительно распоряжаются, как не имеющей цены вещью; но довольно было после того нескольких ласковых слов, впервые сказанных мне Гесперией, чтобы я снова весь предался ее неодолимой власти. По ее приказанию я бросил учение, ради которого прибыл в Город, бросил гостеприимный дом Бебия Тибуртина, поступил наперекор воле отца и поехал за Гесперией в Галлию, к тирану Максиму, в тот год только что поднявшему свой мятеж. И в пути, покорно снося, что Гесперия то ласкала меня, как забавную

²⁶ Медиолан – ныне Милан. В последние века Римской империи часто служил резиденцией императоров.

игрушку, то отталкивала безжалостно и шла к другим мужчинам, я продолжал ее любить столь же слепо и столь же беспредельно.

Но всего этого мало. Проникнув в доверие Максима, этого usurпатора, под тиранией которого несколько лет стонала наша бедная страна, Гесперия задумала стать в его лице императрицей, ибо высшая власть всегда была единственной целью, к которой она истинно стремилась. Но так как Максим чужд был наших мечтаний о восстановлении древней веры Римлян и, при всех своих неистовствах и пороках, всегда прикрывал свою тиранию покровом святой церкви, то эта женщина, для которой, в сущности, не было ничего святого, не колеблясь, отреклась от того дела, которому притворно служила всю свою жизнь, и кощунственно объявила себя христианкой. Она надела себе на грудь крест, символ искупительной жертвы Христовой, стала посещать христианские богослужения и лицемерными устами повторяла слова святых молитв, покупая ценой такой измены себе сомнительную честь именоваться наложницей лжеимператора. Все прежние друзья и сторонники Гесперии, после такого ее поступка, с негодованием от нее отвернулись, но я, – я снес и это, ибо такова была сила моей любви к ней, что я предпочитал подвергнуться последнему позору, но не разлучаться с ней. Я дошел до того, что поступил на службу к Максиму, зная, что и мой отец, и все благомыслящие люди считают его тираном, убийцей законного императора, врагом отечества, разбойником, захватившим высшую власть без права. Я служил государю, которого сам презирал, и я был счастлив тем, что живу близ Гесперии, изредка вижу ее, хотя знал, что она разделяет ложе Максима, не стесняясь притом обманывать его с другими молодыми людьми, которым она оказывала большее внимание, нежели мне. Нет такого унижения, нет такого падения, до которых я в те месяцы не доходил бы, все ради единой надежды: хотя бы раз на дню вновь увидеть Гесперию и хотя бы раз в неделю сказать с ней несколько слов.

Наступило, однако, такое время, когда я, наконец, оказался не в силах сносить далее свой позор. В порыве крайнего безумия и отчаянья я бросился на Гесперию с клинком в руке, думая одним ударом освободить и себя от мучительного рабства, и весь мир от существа губительного, как сама Горгона.²⁷ Милосердный бог отвел тогда мою руку, потому ли, что, по благодати своей, хотел избавить мою душу от тяжести смертного греха убийства, или потому, чтобы сохранить эту женщину для испытания и искушения еще многих других и меня опять в том числе. Но, после моего покушения, Гесперия, которой я давно стал не нужен, выгнала меня вон, как лишнюю собаку, и приказала мне немедля покинуть двор Максима. Мне не оставалось другого выбора, как или быть обвиненным в покушении на убийство и кончить жизнь в руках палача, или подчиниться суровому приказу, и я действительно бежал, бежал в единственное пристанище, которое еще было у меня на земле: в родной дом к отцу! И, стыдно сознаться, но, покидая дворец лжеимператора, я исполнен был ужасом и отчаяньем не потому, что должен буду явиться покрытый позором к своему отцу, гордость и упование которого я так жестоко оскорбил своим поведением, и не потому, что я так безрассудно растратил свои юношеские годы в безумстве исступленной страсти и в преступлениях всякого рода, тогда как мог бы употребить их на честное воспитание своего духа и ума; нет, меня мучила и ужасала в те дни одна мысль, – что я, может быть, навсегда расстанусь с Гесперией.

²⁷ Горгоны – в греч. мифологии чудовищные порождения морских божеств, крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос; их взор превращает все живое в камень.

V

Единственное сравнение, которое может дать понятие об том состоянии, в каком я находился, подъезжая к родной земле, к нашему родному поместью, это – образ того блудного сына, о котором повествует нам святое Писание. Как онный расточитель, я говорил себе, что недостойн войти в круг семьи, не смею увидеть чистые глаза сестры, скорбные – матери и суровые – отца, но что, может быть, и мне, в этом обширном доме, где живет так много рабов, найдется угол, чтобы в нем мог я провести жалкие остатки своей жизни. Тогда казалось мне, что жизнь моя разбита, как бывает разбит бурей корабль, уже более неспособный к плаванию и обреченный догнывать где-нибудь на пустом берегу. Я не мечтал более ни о счастии, ни о деятельности, ни об учении, но только хотел какого-нибудь покоя, чтобы немного забыть ту мучительную боль, которой страдала вся моя душа после всего того ужасного, что я пережил со дня прибытия в Рим, за два с половиною года. С такими мыслями, похожий на ту полураздавленную змею, о которой где-то говорит Вергилий, добрался я до отчего дома, незамеченным вошел в атриум и там пал ниц у домашнего ларария,²⁸ как безвестный странник.

Я не буду здесь подробно рассказывать мучительных мгновений моей первой встречи с родителями. Скажу только, что отец вполне остался верен себе и, подобно тому древнему Юнию, который бестрепетно осудил собственного сына на казнь, не сказал мне ни одного приветственного слова. Теперь я знаю, что он горячо любил меня и что в глубине души был уже рад тому, что я возвратился живым, но тогда он удовольствовался жестоким указанием на тот позор, который нанес я всему нашему славному роду, и пренебрежительным позволением жить под родной кровлей. Сказав эти несколько слов, отец тотчас отвернулся от меня и вышел из атриума, – как знать? может быть, затем, чтобы в своем таблине²⁹ плакать обо мне. Но на меня тогда, хотя я и не ждал лучшего, эта суровость отца произвела впечатление сильнейшее: она отняла у меня последнюю веру в себя, и, помню, едва отец скрылся, я опять повалился ничком на плиты пола и стал рыдать, как обреченный на смерть. Разумеется, иначе отнеслась ко мне мать, которая всячески пыталась меня успокоить и утешить, которая плакала вместе со мной и ласкала меня вновь, как в годы, когда я был малым ребенком, но я почти не чувствовал этих утешений и ласк, так как, потрясенный, едва сознавал, что делается вокруг. Как бы сон, помню, что тотчас рабы отвели меня в ванну и одели в новую одежду, но я после того не захотел выйти к вечернему столу, но удалился в свою комнату, закрыл дверь, упал на ложе и предался мрачному отчаянью, уже сожалея, что решился появиться в этом доме. Мать тогда стучалась ко мне, конечно, затем, чтобы опять меня успокаивать и утешать, но я сделал вид, что не слышу.

Может быть, счастьем для меня оказалось то, что в ту же ночь я опасно захворал. Не знаю, простудился ли я в пути, или просто потрясения последних недель жизни так на меня подействовали, но только сделалась со мной огненная лихорадка, и уже утром я не в силах был подняться с постели. Скоро затем начался у меня бред, и я совершенно потерял сознание всего происходящего, смутно лишь вспоминая, что я нахожусь в родном доме. Десять дней я находился в таком состоянии, несмотря на все усилия призванных медиков; десять дней я лежал в жестоком жару, смешивая образы бреда с действительностью, принимая мать, ухаживавшую за мною, за Гесперию, и сестру – за умершую девочку Намию,³⁰ выкрикивая бессмысленные слова и все порываясь бежать в лес и в горы, чтобы там укрыть свой позор. Заботы матери и ученое старание медиков вернули меня к жизни, и эта тяжкая болезнь явилась как бы некоторым искуплением за все содеянное мною. Более никто, в том числе и отец, уже не

²⁸ Ларарий – алтарь лару (покровителю домашнего очага).

²⁹ «Таблин – комната в глубине атриума, служившая большею частью кабинетом хозяину дома». (Прим. Брюсова.)

³⁰ Намиа – имя девочки из романа Брюсова «Алтарь Победы», влюбленной в Юния и погибшей от любви.

напоминал мне о моих постыдных проступках, и, выздоравливая, я медленно стал входить в обычный строй жизни в нашем доме, как если бы я его никогда и не покидал.

Но сам я не забыл всего пережитого. Образы недавнего прошлого неотступно стояли предо мною и днем, в мыслях, и ночью, в видениях, посылаемых Морфеем. Я не забыл Гесперии и ее красоты, и если при других я имел силы казаться спокойным, то, оставаясь один, я часами рыдал при мысли, что, может быть, в это самое время она ласкает кого-нибудь другого, отвергнув меня, пренебрегая мною, презирая меня. В родной семье, окруженный заботливыми попечениями матери, во всем видя проявления любви ко мне моей сестры, имея в своем распоряжении послушных рабов, которые знали меня с детства, я томился от того, что не могу увидеть Гесперии, еще раз взглянуть в ее удивительные глаза, услышать ее музыкальный голос. И, сознаюсь, часто мне стоило большого усилия удержать себя от поступка безумного: от того, чтобы не покинуть тайно отчего дома, не убежать, как ночному вору, по дороге в отдаленные Треверы³¹ – с одной надеждой: там, замешавшись в толпе, взглянуть на Гесперию, когда она, походкой царицы, будет проходить по улице в церковь. Я никому не говорил о своих мучениях, но они составляли и всю мою жизнь, и все мое счастье; если бы отняли у меня тогда и эти мечты, кажется, я отказался бы и от самой жизни.

Разумеется, в те дни я не думал ни о работе, ни о том, чтобы возобновить свое прерванное учение. Я проводил день за днем, как тяжелую обязанность, стараясь как можно меньше попадаться другим на глаза и как можно меньше говорить с людьми. На ласки матери я отвечал почтительно, но спешил от них освободиться; сестра понемногу стала меня бояться; и даже когда отец пытался вызвать меня на откровенность, я отвечал ему уклончиво и искал случая от него удалиться. Диким и нелюдимым я жил в родном доме, прячась в своей комнате, когда нас посещали соседи, бродя по окрестностям в тех местах, где нельзя было встретить людей, просиживая иногда молча целые дни, живя горестной мечтой в прошлом и как бы не замечая настоящего. Постепенно все привыкли видеть меня таким, и уже никто не делал попыток меня развлечь или вызвать на моих губах улыбку.

Когда настала зима и отец со всей семьей поехал в Лактору, куда призывали его дела по курии, я попросил позволения остаться в деревне, чтобы наблюдать за хозяйством. То было, конечно, предлогом, так как на деле я просто не хотел вновь увидеть своих прежних сотоварищей и знакомых, да и вообще не хотел возвращаться в круг людей. Отец, не споря, согласился на мою просьбу, и я остался на всю зиму один в опустевшем доме. Нужно ли говорить, что хозяйством я почти не занимался? Целые дни я проводил в библиотеке, перечитывая своих любимых поэтов, причем все песни любви Кальва или Катулла, Овидия или Тибулла, даже Горация относил к себе, и все, что трагики говорят о страсти и ее мучениях, также применял к обстоятельствам своей жизни. Часто я писал безумные письма к Гесперии, умоляя ее о позволении вернуться к ней, но потом с горькой решимостью сам ломал исписанные дощечки и бросал их в огонь. Или сочинял элегии о той же Гесперии, но лишь затем, чтобы тотчас же стереть слабые буквы, выведенные на мягком воске. Или, наконец, простертый неподвижно на ложе, обдумывал способы самоубийства, колеблясь, что лучше избрать: открыть ли себе, по древнему обычаю предков, жилы в теплой ванне, как то сделал мой злополучный друг Ремигий, или оплести вокруг шеи прочную веревку, как другой мой Римский знакомец, не менее злополучный Юлианий. Так проводил я день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, всю долгую зиму. Потом принялся я за описание всего пережитого, исписал много листов, что составило четыре больших книги. Не знаю, где это пагубное писание, еще полное всей страстностью.

Нет, однако, ничего в мире, что не имело бы своего конца, и как ни глубоко было мое отчаянье, но и оно не могло длиться бесконечно у юноши, которому не исполнилось еще

³¹ Треверы – ныне город Триер.

полных двадцати двух лет. Когда весной возвратилась в свой деревенский дом наша семья, она нашла меня одичавшим, как лесного зверя, с отросшей бородой, с бледным лицом, еще более жалкого, чем в несчастный день моего возвращения. Тогда отец, сжалившись надо мной, решил вернуть меня к жизни. Как человек умный и проницательный, он не стал докучать мне ненужными советами и поучениями, понимая, что этим путем он не достигнет ничего, а, напротив, прибег к благодетельной хитрости. Призвав меня к себе, он мне сказал, что чувствует себя стареющим, что прежние силы ему изменяют и что я, если сознаю себя чем-либо ему обязанным, должен заменить его в большинстве работ по нашему имению. Как мог я отказать отцу в такой просьбе, когда он дружески просил меня, вместо того чтобы приказывать, на что имел все права отца и домохозяина. Я, разумеется, должен был согласиться на такое предложение, и с того дня все заботы о наших полях и наших стадах перешли ко мне. Подобно древнему Катону, отец не допускал, чтобы во главе рабов стоял один домоправитель, но хотел, чтобы сам господин во все вникал и всем распоряжался; поэтому сразу оказалось у меня много дела, особенно при моей крайней неопытности, ибо я гораздо более был осведомлен в реторике, нежели в ведении сельского хозяйства. Пришлось мне вставать рано поутру, объезжать поля и наблюдать за работами, понукать ленивых рабов и накладывать наказания на нерадивых, выслушивать доклады домоправителя, считать запасы хлеба и сена, выдавать дневные рационы людям, словом, делать все, что когда-то составляло главное занятие наших доблестных предков. Пришлось мне немало и учиться, чтобы с достоинством исполнять свои новые обязанности, и я не раз, а многократно перечитал и книгу о земледелии славного Катона, и другие подобные сочинения, не забыв, конечно, медоречивых «Георгик» великого Мантуанца.

Расчет отца оказался верен. После нескольких месяцев упорного труда я почувствовал себя гораздо более бодрым. Не то чтобы исчезли те причины, которые наполняли мою душу одной беспредельной скорбью, но все же я вновь привык и к общению с людьми, и к разнообразным заботам. В горячие дни, когда надобно было заканчивать какую-либо работу и когда мы все с тревогой высматривали каждое облачко, то опасаясь, то с нетерпением жажда дождя, не оставалось времени для того, чтобы предаваться мрачным грезам. После утомительного трудового дня, возвращаясь вечером домой с дальнего поля, думалось лишь об одном, как бы скорее броситься в свою постель, и уже не оставалось сил для бесплодных слез, а сон был глубок и спокоен и не смущаем мучительными видениями прошлого. Здоровье мое вновь окрепло, душа не то что успокоилась, но как-то окаменела, и я, все оставаясь суровым и нелюдимым, начал думать, что для меня еще есть место на земле, что я еще могу прожить свою жизнь не без достоинства.

Следующую зиму я уже согласился провести в Лакторе. Я был очень сдержан в отношениях с людьми, но все кругом проявляли ко мне такое предупредительное внимание, ни единым словом не намекая на мои прошлые несчастья, что мне трудно было уклониться от возобновления старых и от заключения новых знакомств. Незаметно для самого себя я начал вновь посещать людей нашего круга, бывал и на обедах, и на разных торжествах. Молодость брала свои права, и мне вновь хотелось иметь успех и в философских спорах, и в разных проявлениях ловкости и силы. Только когда до нашей отдаленной Лакторы доходили вести о событиях при дворе тирана, прежние припадки неудержной скорби вновь овладевали мною; опять образ Гесперии со всей его непобедимостью вставал передо мной, я опять укрывался от людей и проводил долгие часы в тоске и унынии. Но я уже научился владеть собою и никому не позволял увидеть, какая незаживающая рана живет у меня под грудью, и только в одном отношении я оставался странным для моих сотоварищей: я решительно избегал женщин, и никто не мог меня принудить участвовать в том веселом времяпрепровождении, которое обычно для юношей того возраста, в каком я тогда был.

Так установилась моя новая жизнь. Всецело посвятив себя сельскому хозяйству, которое древние называли благороднейшим делом для свободного человека, я не искал ни других

занятий, ни других почестей. Лето, до поздней осени, я проводил в деревне, работая неутомимо и с любовью, причем, как говорят, сумел значительно улучшить все статьи нашего имения. Зимние месяцы я проводил большей частью в Лакторе, не стремясь в другие города и даже не желая посетить нашей местной столицы, славной Бурдигалы. С сестрой я постепенно подружился, и она охотно делилась со мной своими девичьими мечтами, но вскоре покинула наш дом, став женой видного гражданина Лакторы, Акция Проба, тоже члена городской курии; мать вызывала у меня слезы своей неизменной любовью ко мне; отец, как бы простив мне все, был со мною ласков и говорил со мной, как с равным. В городе я пользовался уважением и, если бы захотел, несмотря на свою молодость, уже мог бы занять какую-либо почетную должность; но этого я решительно избегал. Все предвещало мне жизнь тихую и мирную, без особых радостей, но и без тягостных потрясений.

VI

В начале третьего года после моего возвращения в родительский дом я узнал ту девушку, которая впоследствии стала моей женой. У моего отца в юности был друг, уроженец нашей Лакторы, Тит Талисий, с которым он был связан узами любви и благодарности, ибо Талисий однажды оказал моему отцу услугу чрезвычайно важную. Уже много лет назад Талисий должен был переселиться на Восток, и давно до нас не доходило об нем вестей. Каково же было изумление отца, когда однажды осенним вечером прибыла в наш дом, одна, без всякого спутника, молодая девушка, которая со слезами сообщила нам, что она – дочь Тита Талисия. Оказалось, что всякого рода несчастья преследовали последние годы друга моего отца: он потерял жену, двух сыновей и все свое имущество. Умирая, всеми оставленный, он завещал своей дочери ехать в далекую Аквитанию, говоря, что там она найдет Тита Юния Норбана, который заменит сироте отца. В письме, которое девушка привезла с собою, умирающий трогательно напоминал отцу об их прошлой дружбе и, с полной уверенностью, поручал ему свою дочь, не сомневаясь ни на миг, что наша семья примет ее, как родную.

Помню хорошо, что мой отец, читая это письмо, слабой рукой нацарапанное на восковых дощечках, плакал, и то были первые, да и последние слезы, которые я видел на лице этого сурового человека. Встав с кресла, на котором он сидел, отец обнял бедную странницу и тут же, торжественной клятвой, призывая в свидетели богов, поклялся, что отныне дочь его друга будет его любимейшей дочерью и что скорее он сам откажется от всего необходимого, чем допустит девушку впредь хоть в чем-нибудь нуждаться. Тотчас одели Лидию, – так звали нашу нежданную гостью, – в лучшее платье моей сестры, и с того дня наша семья увеличилась одним членом, милой и доброй девушкой, которую все мы скоро полюбили искренно и которая всех нас полюбила такой же любовью.

Было Лидии тогда семнадцать лет. Она не была красавицей, но нет того хорошего, что я не мог бы сказать здесь об ней, и ни одного упрека я не могу ей сделать, не только потому, что сам виноват пред ней безмерно, но и потому, что то было бы нарушением истины и справедливости. Тяжелые лишения, пережитые Лидией в последние несчастные годы, сделали ее молчаливой и несколько робкой, но, когда она чувствовала себя окруженной людьми близкими, она становилась без конца привлекательной и умела говорить умно и красиво. Отец Лидии не пренебрег ее воспитанием, и она, кроме знания наших и греческих поэтов, умела играть на кифаре, вышивала золотом и вообще являла все признаки девушки из старинной и хорошей семьи. С сестрой моей, Децимой Юнией, скоро Лидия сдружилась тесно, и они стали неразлучны, как если бы всю жизнь провели под одной кровлей и были дочерьми одной матери. Доброта же и кротость Лидии расположили к ней всех наших рабов, и они тайно называли ее Беатой.³²

Что касается меня, то я вначале сторонился Лидии, как вообще сторонился всех людей в ту пору. Но ее, как я об том узнал после, с самого первого дня привлекло к себе мое печальное лицо. Узнав, в общих чертах, об моей скорбной судьбе, она стала видеть во мне человека несчастного, преследуемого Роком, и ее доброе сердце исполнилось ко мне сожаления, перешедшего затем в чувство более нежное. Понемногу и я не мог уклониться от сближения с девушкой, жившей в нашем доме, с которой я встречался ежедневно и которая всех привлекала своей обходительностью, услужливостью и юной прелестью. Дошло до того, что родные стали замечать явное расположение Лидии ко мне, и моя сестра прямо спросила меня, что я думаю о женитьбе на ней. Мне до того дня такая мысль не приходила в голову, и, услышав подобное предложение, я был смущен и даже глубоко поражен. Дело в том, что все еще образ прекрасной

³² Беата – благословенная (лат.).

Гесперии жил в моей душе. Я ответил сестре, что не хочу связывать судьбы достойной молодой девушки со своей несчастной судьбой, и с тех пор стал избегать Лидии, что она переносила со своей обычной покорностью и кротостью.

Между тем всего через год после прибытия к нам Лидии отец внезапно заболел какой-то сильной болезнью. Медикам так и не удалось определить его недуга, который был тем более странен, что отец отличался всегда здоровьем исключительным и что все в нашем роде всегда жили до преклонной старости. Однако, несмотря на все утешения призванных врачей, отец почувствовал сам, что ему от своей болезни уже не оправиться. Тогда, как истинный Римлянин, он поспешил привести в порядок все свои дела, пересмотрел свое завещание и, наконец, призвал к себе меня. Мне он сказал, что умирает и что я, таким образом, остаюсь главою семьи и единственным представителем рода Юниев Норбанов. Сделав мне ряд мудрых замечаний и указав мне на мои обязанности перед матерью и сестрой, отец затем прямо сказал, что спокойным умрет лишь в том случае, если я дам ему обещание взять женою Лидию.

– Этим, – говорил он, – ты искупишь свои вины предо мной, которого много огорчал. Отец Лидии некогда оказал мне великую услугу: спас более, чем мою жизнь – мою честь. Пусть же мой сын оплатит за это тем, что примет на себя заботы об его дочери. Кроме того, я уверен, что и для тебя этот брак будет спасителен и благодетелен. Лидия – девушка достойная и скромная, которая сумеет уберечь тебя в будущем от тех неразумных поступков, способность к которым ты проявил в своей ранней юности. Исполни мое пожелание, Децим, и верь, что умирающим боги дают видеть дальше и лучше, нежели видят те, кто еще далеки от смерти.

Что я мог возразить своему дорогому отцу в эти торжественные миги, стоя у его смертного одра? И как знать, не провидел ли он будущего действительно лучше нас, так как, несмотря на все прискорбные события, к которым меня привела собственная необузданность, не через этот ли брак пришел я, наконец, к познанию истинной правды? Что бы там ни было, но я, воздев руки, поклялся богами, что последнюю волю отца исполню, и даже прибавил такие клятвы, которые после мною сдержаны не были. Тотчас в комнату умирающего были призваны другие члены семьи, и тут же, у последнего ложа отца, мы с Лидией были торжественно обручены, как жених и невеста; Лидия тогда побледнела от страха и счастья, но сестра моя была, кажется, всех счастливее в этот час, радостно поздравляла нас обоих и твердила, что первая предрекла этот союз.

Отец сильно желал, чтобы наш брак состоялся еще при его жизни, и всячески торопил нас, говоря, что после него закроет глаза спокойно. Однако через несколько дней отцу стало много хуже. Напрасны были все усилия искуснейших медиков нашей местности. Так же как не помогли и жертвы, которые мы, в своем тогдашнем заблуждении, приносили на алтари лакторских храмов: ни греческая наука, ни Эскулапий и другие боги не помогли. Внезапно отец потерял сознание и после долгой, трехдневной борьбы со смертью скончался, к великому горю не только его близких, но всего города, который едва ли не весь пошел провожать к погребальному костру своего любимейшего декуриона. Мне говорили, что и в самом Риме, узнав, жалели о кончине человека известного и достойного.

После того как прошли месяцы, в которые всякое празднество в нашем доме было бы неуместно, я исполнил данное отцу обещание, и Лидия стала моей женой. Наш брак был совершен с соблюдением всех обычаев предков, и Лидия, сев на шкуру овцы, принесенной в жертву, одетая впервые в платье матроны, с шафрановой паллой³³ на плечах, казалась мне в тот день воистину той женщиной, которая должна принести мне счастье в жизни. Когда мы вернулись в наш дом, предшествуемые носилками, на которых несли статуи Югатина,³⁴ Домидука,³⁵ Доми-

³³ Палла – плащ.

³⁴ Югатин – бог супружества.

³⁵ Домидук – бог, вводящий невесту в дом жениха.

ция³⁶ и Мантурны,³⁷ когда нас, по древнему обряду, осыпали мукой, когда прозвучал священный ответ: «Где ты, Гай, там и я буду, Гайя», – я поверил, что начинается для меня новая жизнь и что все мое буйное прошлое отныне должно быть забыто, как дурной сон, сменившийся ясным днем.

Мне казалось даже, что все благоприятствует моим ожиданиям и что та Фортуна, которую наши предки изображали с рогом, наполненным всяческими благами, намерена их рассыпать над четой молодых супругов. Став главою семьи, я тем усерднее предался заботам о нашем поместье, и скоро оно стало предметом восхищения и зависти для всех соседей. Жена меня любила страстно и через год родила мне сына, которого мы назвали, в память незабвенного моего отца, Титом, а еще спустя некоторое время – дочь, которая получила имя своей матери, Лидии. Граждане Лакторы уговорили меня, несмотря на мою молодость, принять участие в делах правления городом, и я уже не сомневался, что буду избран в состав декурионов. Мать мою, которую я столько огорчал в юности, я мог теперь окружить полным спокойствием и новым достатком, так что она, успокоившись после тяжелой потери любимого мужа, проводила дни в почете и довольстве. Наконец, радовала меня и судьба моей сестры, Децимы Юнии, которая жила покойно и счастливо подле своего благородного мужа, воспитывая двух детей, родившихся у нее, моих племянников, – мальчика Децима и девочку Акцию.

Однако обманчиво и непрочно земное счастье, как часто говорят поэты. К тому же было одно обстоятельство, которое с самого начала, как некий тайный яд, разъедало и мое спокойствие, и мои надежды. Исполняя волю отца и называя своей женой Лидию, я надеялся, что прекрасные достоинства этой девушки не только заставят меня ее уважать, но и пробудят в моем сердце любовь к матери моих детей. И ничем старался я не показать Лидии, что связан с нею лишь чистой дружбой и что нет во мне того огня, который, по сказаниям поэтов, вызывают вонзившиеся стрелы крылатого Амора. Но велика над человеком власть ослепляющей его страсти, и с первых дней нашей общей жизни я понял, что розы супружества будут для меня окружены шипами воспоминаний. В тот самый вечер, когда, вернувшись домой, осыпанные мукой, приняв поздравления близких, мы с Лидией остались впервые наедине в кубикуле³⁸ моего отца, – комнате, которая, по настоянию моей матери, стала после моего брака нашей супружеской спальней, – узнал я страшное будущее, готовящееся мне: образ покойной, <как я тогда полагал,> Гесперии <неотступна был предо мною>.

Помню я робкое и счастливое лицо моей новобрачной жены, помню ее несмелые движения и тот нежный шепот, каким она произносила обычные девичьи просьбы, но помню и ту внезапную тоску, которая вдруг охватила мою смущенную душу. Уже много месяцев не вспоминался мне ни образ, ни имя далекой Гесперии, и на самом пороге своего дома, возвращаясь после свадебного обряда, я мог думать, что все прошлое погасло навсегда. И вдруг, в обстановке брачной комнаты, в час, когда меня ожидали первые ласки прекрасной и любящей меня девушки, бывшее томление разлилось по моей душе, как при урочном приливе разливаются воды океана по прибрежному песку. Вдруг мне стало ясно, что та Гесперия, которой я не видел уже столько лет, лживость и коварство которой вполне постиг, на которую сам поднимал когда-то кинжал, – остается для меня единственной женщиной, влекущей к себе мое сердце и мои еще юношеские силы. Так явно предстало предо мною словно из воска сделанное божественно-прекрасное лицо Гесперии, что ужас охватил меня, как пред привидением, и до сих пор я думаю, не было ли в этом вмешательстве неких волшебных чар.

³⁶ Домиций – покровитель бракосочетания.

³⁷ Мантурна – богиня, закрепляющая прочность брака.

³⁸ Кубикул – спальня.

Поспешно я погасил все лампы и, в полной темноте прижав к своей груди трепетную девушку Лидию, старался волей преодолеть Гекатовы³⁹ наваждения. Но чем теснее сжимал я в объятиях другое тело, тем неотступнее представлялось мне, каким блаженством было бы для меня в это мгновение обнимать тело незабвенной Гесперии. Было ли то искушение Врага человеческого, или сам я был столь недостоин чистого счастья, только та радость, которую, по мнению всех, должен я был вкусить в первую ночь своего брака, обратилась для меня в горечь, подобную полыни. И хотя упорством я в конце свою слабость победил, но если бы кто-нибудь внезапно зажег в нашем кубике лампы, он увидел бы, что мое лицо, после страстных ласк, искажено страданием и по щекам струятся слезы.

Так и повелось с тех пор, что, ценя и уважая свою жену, которая достойна была уважения и любви, я никогда не мог преодолеть тягостного чувства, когда оставался с нею наедине в нашей супружеской спальне. Каждый раз, когда я целовал, как муж, покорные губы жены и обнимал ее, мучительная тоска начинала клещами пытаться мое сердце, и мне казалось, что я поступаю недостойно, отдавая свои ласки не той, кому они принадлежат по праву. И странно (это я добавлю, чтобы быть вполне откровенным), такого чувства я не испытывал, когда случилось мне, прельстившись хорошенькой рабыней, склонить ее на любовь со мной, что в нашей жизни почиталось делом обычным. Много я страдал от такого своего отношения к женщине, которая делала все, чтобы заслужить иное, много я с собой боролся, доказывая себе доводами философии всю неосновательность своих чувств, но словно стеклянная стена была воздвигнута Роком между мною и Лидией, и эту стену я мог пробивать, только изранив руки и испытывая жестокую боль. Ныне, думая о прошлом, еще раз я прихожу к выводу, что в свое время или каким-то волшебным напитком, или иным тайным способом Гесперия отравила мою душу и обрекла ее на страдания.

³⁹ Геката – богиня колдовства.

VII

Между тем события того времени непрестанно и настойчиво напоминали мне о Гесперии. Еще до моей свадьбы тиран Максим отважился на безумное предприятие: не пожелав довольствоваться предоставленной ему властью над тремя прекраснейшими диэцесами⁴⁰ Запада, он коварно повел свои войска против императора Валентиниана II.⁴¹ Все слухи, доходившие до нас, единодушно повторяли, что к такому шагу побудила его жившая при его дворе «прекрасная Римлянка», ибо ее ненасытная душа должна была стремиться к власти над всем миром, а сам Максим, конечно, удовольствовался бы покойной и пышной жизнью властителя Галлий, Испании и Британнии. Как раз на первые месяцы моей новой жизни с Лидией выпала та жестокая война, которую пришлось вести с тираном восточному императору Феодосию. Проезжие купцы и путешественники привозили к нам известия об том, как войска Востока вторглись в Галлию Цисальпинскую, как другой отряд под начальством Арбогаста шел через Рецию, как греческий флот готовился плыть к берегам Италии, – и все рассказчики, единогласно говоря о неспособности и трусости Максима, столь же единогласно свидетельствовали о изворотливости, ловкости и мужестве его советницы. Нетрудно представить, как меня волновали эти вести о Гесперии, изображавшие ее как состязательницу на арене великих событий, своей волей направляющей судьбу империи и приближающейся к ее заветной цели – императорской диадеме. Потом пришли известия о победоносном для Феодосия сражении при Сискии, о бегстве Максима, попытке тирана укрыться за стенами Аквилеи и, наконец, его позорной смерти. Куда скрылась после того Гесперия, мне никто не мог изъяснить, хотя я, – должен в этом сознаться, – неоднократно расспрашивал об ее судьбе всех, кто мог дать мне какие-либо сведения.

Все Галлии приняли весть о гибели тирана с ликованием, так как почти никто из их жителей, подобно моему отцу, в душе не признавал Максима императором, но видел в нем недостойного usurпатора. Не было ни в чьем сердце и сожаления о внезапном исчезновении «прекрасной Римлянки», которую большинство считало за злую Эриннию⁴² нашей страны. Но если другие прислушивались к вестям о военных действиях с тайным опасением за благополучие наших городов и за свое собственное благосостояние, если другие искренно негодовали на неистовство тирана и его жестокую советницу, то я ловил эти слухи с жадностью только потому, что в них поминалась та, которая продолжала царить в моем сердце, как Юнона⁴³ на высоком Олимпе. Сколько раз в глубине моей души подымалось, как змей, отчаянное желание: тайно бросить все и бежать в войска тирана для того только, чтобы снова быть близко от Гесперии, ее видеть, может быть, умереть на ее глазах. Усилием воли и рассудка я побеждал это безумие, объясняя себе, что Гесперия и не захочет меня видеть, что в дни своего торжества она оттолкнет меня ногой, как лишнюю собаку. В томлении, с мыслями о далекой Италии, я продолжал свою жизнь новобрачного, пока не пришла весть о гибели Максима и исчезновении Гесперии. Тогда мною овладела неодолимая тоска, которую я не мог одолеть ничем, тоска, опять заставившая меня целыми днями проводить без дела в своем таблине, бессмысленно глядя на восковые изображения предков. И так длилось долгие месяцы.

Таково было начало моей семейной жизни. Постепенно и это тяжелое бедствие было пережито. Империя успокоилась, и благочестивый Феодосий восстановил над всем Западом

⁴⁰ Диэцес – территория Римской империи, разделенная на две половины (западную и восточную), распадалась в дальнейшем на префектуры, которые делились на диэцесы, управляемые викариями.

⁴¹ Валентиниан II – римский император, правивший западной частью Империи (368–392 гг.)

⁴² Эриннии – в греч. мифологии богини мести, в римской мифологии им соответствовали Фурии – олицетворение совести преступника

⁴³ Юнона – в рим. мифологии покровительница женщин, материнства и брака, отождествлялась с греческой Герой.

власть императора, Валентиниана II. Гесперия как бы исчезла, и многие почитали ее мертвой. Я вернулся к моей жизни, к заботам по хозяйству, к моей молодой жене и мало-помалу начал выполнять день за днем свою жизнь, как неизбежный и невеселый труд.

Разумеется, от Лидии, несмотря на все мои старания, не могло вполне укрыться мое к ней отношение. Она видела, что я, будучи почтителен и заботлив к ней, подлинной любовью не одушевлен, и это тяготило ее безмерно. Она встречала мои принужденные ласки, как высшее блаженство, но часто я заставлял ее плачущей и, по свойственной человеку непоследовательности, только гневался, когда на мои расспросы она отвечала мне, что вполне счастлива и что ее слезы – пустая случайность. Кротко снося свою судьбу, Лидия старалась бороться с ней лишь одним путем: нежной ко мне любовью, неустанной заботливостью обо мне, преданностью моей матери, а утешения искала в постоянных хлопотах и работах по нашему большому дому, требовавшему постоянного присмотра. Я наблюдал, как она неутомимо распоряжается нашими рабынями, как употребляет все старания, чтобы мне жилось хорошо и покойно; на каждом шагу я встречал признаки ее заботливого внимания, и в дни неудач не было у меня более преданного друга, нежели Лидия. Нередко, оставшись один, я почти со слезами думал об том, какое благо послали мне боги в лице Лидии, и тогда мне хотелось одного: сделать ее счастливой, показать ей наконец, как я ей признателен и как она все же дорога мне. Но, при первой встрече, мое сердце вновь каменело, слова нежности не сходили с моих уст, и я опять довольствовался несколькими приветливыми выражениями, хотя и их было достаточно, чтобы сделать Лидию счастливой на весь день.

Единственной истинной отрадой в жизни Лидии были наши дети. Их она полюбила, может быть, сильнее, чем обычно матери любят своих детей, потому что им отдавала она всю ту страстность, которую принять не мог ее муж. Нашего сына и нашу дочь окружила она попечениями такими, как если бы то были дети императора, и относилась к ним с таким благоговением, как если бы то были маленькие божества. Малейшее нездоровье детей тревожило Лидию в такой степени, что она сама становилась чуть не смертельно больна, хотя и продолжала ухаживать за захворавшими с неутомимостью и самозабвением геройскими. И я, глядя на эту любовь матери, утешался несколько, говоря себе: «Если я не в силах был сделать Лидию счастливой как жену, все же это я дал ей счастье матери». Однако неумолимые Мойры⁴⁴ стерегли меня и всех, кто связал свою жизнь с моей, и задумали поразить бедную Лидию в самое чувствительное место – в ее, так ею любимых детях.

На четвертый год после моей женитьбы произошло в нашем доме событие, которому тогда я не придавал особого значения; но которое теперь, когда я умудрен опытом всей жизни, представляется мне огромным и важным. Господь бог, в неизреченной милости своей, в те дни еще раз перстом своим указывал мне правый путь, идя по которому я мог спастись и избежать горестных бедствий, иначе предстоявших мне. Я, однако, в своей тогдашней гордыне и слепоте, опять не захотел увидеть тесных врат спасения и тем обрек и себя и всех, связанных со мною, кого на страдания, кого на смерть, за которую и должен буду понести ответ на последнем Суде.

Тогда к нам в дом приехала, чтобы повидаться с родными, моя сестра, Децима Юния, которая после замужества поселилась в Бурдигале. Мы все встретили Дециму очень радостно, потому что все, не исключая Лидии, любили ее нежно и горячо. Но скоро должны мы были убедиться, что во многом Децима стала иной, нежели была, живя в доме отца. Дело в том, что в Бурдигале вошла она в круг людей, исповедующих учение Христа, и своей чуткой душой поняла величие и истинность новой религии. Еще не примкнув открыто к христианам, Децима уже была душой христианкой и, незаметно для самой себя, всю свою жизнь направила во исполнение высоких заповедей Иисуса. И когда мы настойчиво начали спрашивать у сестры о

⁴⁴ Мойры – в греч. мифологии богини судьбы.

причинах перемены, замечающейся в ней, она, не тая истины, смело стала проповедовать нам учение Спасителя мира.

Часто до позднего вечера продолжали мы за обеденным столом наши страстные споры о правой вере. Не уступая нам, Децима, которая была очень начитанна, приводила доводы и из древних поэтов, особенно из моего любимого Вергилия, и из философов, и из натуральной истории, наконец из святого Писания, которого мы не желали слушать. Шаг за шагом опровергала она наши шаткие доводы, показывая нам, что Христос был истинный бог, о котором пророчествовали все истинные провидцы, и что его учение, в большой полноте, содержит все то доброе, что только есть и в религии наших предков. Я, разумеется, возражал с жаром, вновь почувствовав в себе то рвение, с каким когда-то боролся за веру отцов в Риме, и не щадил ни голоса, ни выражений, чтобы хулить губительные заблуждения (как мне тогда казалось) христиан и даже самого божественного основателя веры. Порой так возгорались наши споры и с такой яростью начинал я нападать на сестру, кротко сносившую мои насмешки, что мать должна была вступать в наш разговор и напоминать нам, что мы сидим за нашим семейным столом, а не состязаемся в публичном диспуте.

В тогдашнем моем ослеплении никакие доводы не могли поколебать моих убеждений, и чем разительнее были доказательства и соображения сестры, тем неистовее и более злыми становились мои возражения. Но что касается Лидии и моей матери, то на них рассуждения сестры производили совсем иное впечатление. Была ли их душа более подготовлена к принятию добрых семян, или они не закрывали ее намеренно от благотворной руки сеятеля, только обе они слушали Дециму сочувственно и невольно соглашались с нею. Напоследок, в наших спорах я уже оказывался один против трех женщин, которые, хотя и робко и неуверенно, но пытались доказать мне, что я не прав в своем отрицании. Мне стали указывать, что вот уже около столетия императоры исповедуют религию христиан, а империя стоит незыблемой, что многие достойнейшие люди, и в том числе наши родственники, приняли новую веру, что истина ее засвидетельствована многими чудесными явлениями и высокими подвигами, и многое другое. Когда я увидел окончательно, какое влияние оказывает проповедь Децимы на мою жену и особенно на старую мать, я порешил, что обязан принять решительные меры.

Однажды во время одного из самых ожесточенных наших споров, когда Лидия, вообще говорившая реже нас всех, задумчиво сказала: «Поистине, кажется мне, что учение Христа выше, чем наша вера», – я встал из-за стола и голосом, который мне самому показался неожиданным, произнес твердо:

– Довольно! Ты, Децима, вышла из-под моей власти и вольна поступать так, как тебе то позволяет твой муж. Но здесь я – отец семейства и более таких речей позволить не могу. В этом доме, где атрий украшен восковыми изображениями наших славных предков, где жил и умер наш отец, всю жизнь остававшийся верным религии предков, проповедь новой веры есть оскорбление его памяти. Прошу тебя, Децима, доколе ты будешь гостьей в моем доме, не начинать больше такого разговора, а тебе, Лидия, отныне я запрещаю произносить самое имя этого Христа. Так я требую, и да будут к нам милосерды бессмертные.

После того я совершил возлияние чистым вином и вновь сел на свое место. Настало за столом молчание, Децима опустила глаза, а Лидия вся задрожала, почти заплакав; мать тоже не решилась сказать ни слова в ответ мне. Я же был неумолим. Действительно, после того вечера наши споры о вере прекратились, да и Децима вскоре покинула нас, так как ей пора было вернуться в Бурдигалы.

Примечательно, однако (и да обратят на то внимание все, не придающие значения словам), что именно с этого времени начался ряд несчастий, которые посыпались на наш дом с такой же тяжестью, с какой падали камни из жерла Везувия в памятный день, описанный Плинием.

То были те прискорбные дни, когда империя снова была потрясаема жестокими событиями.

VIII

То произошло в – ой год нашей совместной жизни, в пору, когда на долю нашей родины вновь выпали тяжкие испытания.

В Виене⁴⁵ весной того года умер или, как все утверждали, был убит Арбогастом император Валентиниан II. Императором был избран, или, тоже по таким же всеобщим слухам, назначен Арбогастом, бывший магистр скриний⁴⁶ Евгений. Новый император, отправив послов к Феодосию с извещением о своем избрании, сам поспешил на Рейн, где одержал победы над бруктерами и комавами...⁴⁷ Позднее до нас стали доходить слухи, самые неожиданные. Говорили, что Евгений в Галлиях после победы вошел в сношение со знаменитым Флавианом, в то же время для укрепления своей власти ищет союза с людьми, оставшимися верными вере предков; что Евгений даже разрешил восстановить алтарь Победы;⁴⁸ что в Городе возобновляются храмы, вновь происходят в легионах торжественные служения богам и что отменены законы, дающие разные преимущества христианам. Евгений поехал в Рим. Но, что было для меня всего тревожнее, говорили также, что близ Евгения оказалась женщина, руководящая им, в которой многие признавали «прекрасную Римлянку», жившую когда-то при дворе тирана Максима.

Последнюю весть принес нам один Пакколский купец, по имени Либерий, который время от времени посещал наше поместье, так как у меня были с ним дела. За обедом он рассказывал нам о новых бедствиях Италии и об том, что император Феодосий, конечно, не оставит без отмщения убийство своего шурина и брата своего благодетеля.⁴⁹

...Лидия, недавно поправившаяся после родов.

⁴⁵ Виена – ныне город Вьен на Роне.

⁴⁶ «Магистр скриний – важная должность, в сущности – хранитель ларцов с важными государственными бумагами; до некоторой степени – министр иностранных дел». (Прим. Брюсова.)

⁴⁷ Бруктеры и комавы – племена прирейнских германцев и франков.

⁴⁸ Алтарь Победы – алтарь перед статуей богини Виктории (Победы), где сенаторы клялись соблюдать законы империи.

⁴⁹ По нумерации Брюсова здесь потеряна одна страница текста.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.